

УДК 94(438)"1989/..."

DOI: 10.25688/2076-9105.2020.38.2.08

М. Броцки

Постсоциалистическая ностальгия и перемены внутри семиотической вселенной на примере Польши после 1989 года

В статье представлен социалистический образ Польши, стихийно построенный массами. Анализ основан на данных интервью и этнографических наблюдениях, проведенных в трех разных небольших городах, расположенных в разных регионах Польши. На основании проведенных исследований можно утверждать, что ностальгия в основном относится к широко понимаемым формам общения и связи и является важным компонентом семиотического универсума повседневной жизни в социалистической Польше.

Ключевые слова: постсоциализм; семиозис памяти; семиотическая этнография; антропология повседневной жизни.

Период социализма, а также общественные и культурные процессы, происходящие в странах Центральной и Восточной Европы после политических изменений на рубеже восьмидесятых и девяностых годов XX века, стали предметом интереса социологов и антропологов, оказавшись одной из самых динамично развивающихся областей исследований [14: с. 5; 8].

Одним из феноменов, отличающим преобразования, является ностальгия по социализму. Она обнаруживает себя в различных формах на всем постсоциалистическом пространстве. Это явление становилось предметом многих научных исследований [3; 11; 23: с. 67; 22: с. 10], однако ввиду своего динамического характера и тенденции к разнообразию оно требует более глубокого и детального этнографического изучения и интерпретации.

Важным рубежом в этом вопросе является уже само время «окончания» социализма, поскольку в социальной памяти официальные даты не фиксируются как особо важные, хотя формально существование Польской Народной Республики (ПНР) имеет свои официальные временные границы¹. Обычно фиксируется другое: начало «Народной Польши» приходится на конец Второй мировой войны, а ее окончание — на 1989 год, на момент принятия власти

¹ 22 июля 1952 года вступила в силу новая Конституция, в которой было введено новое название польского государства — Польская Народная Республика, а возвращение к старому названию — Польская Республика, состоялось 31 декабря 1989 года благодаря резолюции о внесении изменений в Конституцию.

политической партией «Солидарность». Однако если мы не ставим вопрос непосредственно о датах, а анализируем различные элементы культурных практик после 1989 года, то оказывается, что ПНР в различных местах и средах воспринимается по-разному и все еще влияет на ряд социальных и культурных практик. Следовательно, использование термина ПНР, как если бы он был однородным явлением, хотя и распространенным, в целом неправильно. Такой термин предполагает, что мы имеем дело с недифференцированным объектом, по которому можно высказывать общие суждения. Стоит все-таки помнить, что такие удобные сокращения не являются нейтральными по отношению к создаваемой ими реальности, а также влияют на интерпретацию явлений, которые они в конечном итоге должны представлять. Кроме того, они могут быть основой мифа: в этом случае это миф о реальном существовании объекта, которым являлась бы ПНР. Конечно, я не хочу сказать, что ПНР не существовала, но лишь хочу обозначить проблему определенного несоответствия реальности и ее овеществления.

Наблюдения за повседневной жизнью, привычными способами поведения и мышления различных социальных групп составляют гетерогенную картину жизни в период социализма в Польше. Объединенная ПНР, которую чаще всего помещают в дихотомических комбинациях «ранее и до настоящего времени», не существовала и не существует иначе, как в качестве элемента специальной аргументации (будь то политическая или повседневная беседа). Антропологи интересуются как ПНР, которая была и является пространством человеческого опыта (с указанием разнообразия социальных групп), так и ПНР как мифическим творением, инструментом современного дискурса.

Представление о ПНР благодаря таким воспоминаниям, как ссылки на те времена в повседневных разговорах или в конкретных формальных и неформальных обстоятельствах, элементах повседневной материальной среды, инфраструктуры, фотографиях, кинокартинах, особенно тех, которые сосредоточены на использовании повторяющегося клише, фиксирующего события и формы поведения, характерного для обозначенного времени, являются признаками, с помощью которых можно восстановить правильную картину культуры (фрагмент жизни в ПНР). И именно поэтому они не являются данными, которые говорят что-то сами по себе — они могут стать такими признаками, но только когда мы перенесем их в другой контекст, например в рамки поп-культуры. Однако тогда мы должны осознавать, что они принадлежат к другому культурному порядку и могут рассматриваться только как элемент этого другого контекста.

Термин «ПНР» все еще используется в рамках политической дискуссии, а также в рамках широкого понимания популярной культуры. В первом случае к воспоминаниям о прошлом прибегают почти естественным образом: как показывают многочисленные антропологические работы, во всех политических системах построение прошлого является элементом легитимности нынешней власти. Во втором — прошлое становится объектом, экзотичной вещью, которой

можно обмениваться как ценным товаром. Конечно, способы использования прошлого разнообразны (образы прошлого являются, например, интегрирующими элементами больших социальных групп), и я не собираюсь приводить их к двум упомянутым, но я думаю, что этот пример является наиболее простым, чтобы увидеть условность фигуры ПНР, увидеть механизмы отбора и выяснения фактов по отношению к другим фактам, захватить процесс генерации прошлого.

Это важно, потому что способ презентации прошлого влияет на действия, предпринимаемые обществом, и на социальную классификацию прошлого для управления социальным настоящим. В последнем случае особенно полезным является представление, демонстрирующее страдания общества, так как сильный эмоциональный заряд, который оно несет, увеличивает силу влияния. В этом контексте стоит отметить, что границы ПНР, обозначенной в политическом дискурсе как пространство угнетения, расширяются к моменту падения коммунизма быстрее, чем другие пространства повседневной жизни. В общественном дискурсе еще со времен ПНР поддерживается дихотомия «государство, власть (государственный аппарат) – гражданин (общество)». Первый компонент отождествляется с аппаратом угнетения, а второй — с угнетенными гражданами. Упомянутая оппозиция, хотя и оправданна, также является элементом создания мифической версии ПНР как однородного творения, лишённого пространства для разнообразия повседневной жизни и повседневного опыта. Даже ученые, которые анализируют феномен ностальгии по ПНР, иногда поддаются влиянию этого обычного мифологического образа, говоря, например, что она «прямо пропорциональна вкладу в свержение коммунизма» [25: с. 147], забывая, что среди тех, кто внес реальный вклад в изменение системы, это чувство не наблюдается. Именно квазиграмматический характер противопоставления власти и граждан делает ПНР легким инструментом мифизации. В обычном дискурсе, как и в научном, речь идет о власти с точки зрения колонизации или даже полного порабощения общества государственным аппаратом. Несомненно, ограничение свободы, даже через обширную бюрократию повседневной жизни, может напоминать колонизацию. Однако не следует забывать, что администрация/бюрократия действует в локальной сети отношений, и это на многих уровнях смягчает противостояние «государственный аппарат – гражданин». Антропологи показывают, что, хотя вышеобозначенные оппозиции относятся к постоянному репертуару средств укрощения реальности (они могут даже навязывать временные видения как обязательные), они представляют собой инструменты, с точки зрения культуролога, чрезмерно упрощающие ее, игнорирующие многогранность мира, с которым мы сталкиваемся и который существует в реальной взаимосвязи разных элементов (в том числе на уровне межличностных отношений). В результате эти оппозиции являются частью мифизации определенных отрезков реальности. И не следует забывать: как писал Р. Барт, миф сильнее фактов, что делает его отличным орудием для различных манипуляций.

В дополнение к политическому и историческому контексту, в котором чаще всего осуществляется мифизация ПНР (с разных сторон политической сцены), рынок также участвует в экзотизации этого периода, используя категорию «ностальгия». К. Стюарт отмечает, что ностальгия — это культурная практика, формы, значения и эффекты которой меняются в зависимости от контекста, в котором она используется. Ностальгия в соотношении «раньше – сейчас» создает интерпретирующие рамки для выражения определенных аспектов текущей общественной жизни здесь и сейчас, временно упорядочивает события из прошлого и драматизирует их как «вещи, которые имели место быть» или «которые могли бы иметь место», одновременно очищая, придавая форму и выставляя современный социальный мир в миниатюре [20]. В результате «продукты» ностальгии приобретают особую ценность как метонимическое представление чего-то, что существенно упорядочивает настоящий опыт, а не только как элементы лучшего мира из прошлого. Поэтому сегодня у нас есть целый ряд ностальгических «продуктов», которые относятся к оригиналам, связанным с периодом ПНР: начиная от обычных цветных карандашей для детей, заканчивая пабами, от ностальгических сериалов, мультфильмов и комиксов про ностальгические поездки (как, например, Нова Хута (Nowa Huta) в Кракове). Популярная культура начинает сама по себе производить образ ПНР, а исходя из силы влияния этой культуры, ее образы (в буквальном смысле, потому что популярная культура поступает к получателю посредством материальной презентации) становятся наиболее важным средством восприятия ПНР.

Объектом моих исследований и размышлений является ностальгия по ПНР, которая стала возникать после 2004 года, т. е. после вступления Польши в Европейский союз. В течение многих лет немало исследователей открывало механизмы, которые вызывают подобные явления во многих постсоциалистических странах: в Польше [16; 13], Венгрии [18], бывшей Югославии [6] и бывшей Восточной Германии [7; 4]. Однако в отличие от авторов предыдущих исследований по этому вопросу, фокусирующихся в первую очередь на анализе социальных последствий / издержек институциональных изменений (причин), важных, но, на мой взгляд, являющихся одной из составляющих сущности этого явления, меня интересует не только причина ностальгии, но и прежде всего ее значение и социальная функция. Фундаментом, на котором основывается предлагаемая рефлексия, являются материалы из исследований, которые я проводил с 2004 года в трех местах: в Юго-Западной Польше (около Свєрадув Здруй (Świeradów Zdrój), в Центральной Польше (во Влощове (Włoszczowa)) и в районе Добжень Вельки (Dobrzeń Wielki) возле Ополя. Исследования касались, в частности, восприятия и переживания последствий политических преобразований различными группами населения (фермерами, должностными лицами, учителями, пожилыми людьми, молодежью и т. п.). В рамках исследования была выявлена проблема все еще распространенной ностальгии по Польше до 1989 года. Поскольку в этих трех местах различные группы людей ссылались на «Народную Польшу» в качестве ориентира для своей

собственной интерпретации текущей ситуации, я посчитал недостаточным объяснить это явление на более общем уровне (с этической точки зрения). Я думаю, что постсоциалистическая ностальгия ответственна за общий механизм идеализации молодости или что это «типичное польское ворчание», или что в постколониальных² обществах всегда доминирует фатализм и нежелание предпринимать какие-либо действия, а следовательно, прошлое, даже колониальное, идеализируется как что-то другое, что-то лучшее. Однако я решил, что интересным ключом к объяснению этой ностальгии может быть семиотическая и интеракционистская перспектива, дополненная некоторыми элементами акторно-сетевой теории. Используемые теоретические ориентации содержат некоторые допущения, благодаря которым можно понять различные формы ностальгии, не сводя их к общему знаменателю обобщенных человеческих потребностей или универсальных действий социологических законов, тем самым сохраняя разнообразие современного познания ПНР. Что предлагают такие перспективы в контексте интерпретации прошлого, обновленной в виде текстов воспоминаний?

Семиотические изучения памяти являются особенной прерогативой таргуско-московской школы. Ученые, которые представляют данную школу, описывали культуру как ненаследуемую память общества. Согласно Ю. Лотману, культура это «совокупность ненаследуемой информации, которую собирают, сохраняют и передают различные группы общества. Таким образом, для наших целей является важным правило, согласно которому культура — это информация. Действительно, даже когда мы имеем дело с так называемыми памятниками материальной культуры, например, с инструментами производства, стоит помнить, что все эти объекты в обществе, которое их создавало и ими пользовалось, играют двойную роль: с одной стороны, они служат практическим целям, с другой — концентрируя в себе опыт предыдущей производственной деятельности, выступают в качестве средства хранения и передачи информации» [2: с. 486].

Память — это механизм отбора и упорядочивания опыта («ненаследуемой информации»), механизм семиоза прошлого. Видимо, рассказы о прошлом также являются способом ее текстуализации (включая операционализацию)³

² Категория постколониализма, иногда используемая по отношению к целым обществам, которые называют постсоциалистическими, вызывает возражения. Да, ностальгия по колонии наблюдается во многих странах Африки (теми, кто был колонизирован, и теми, кто колонизировал), и некоторые элементы определения ностальгии становятся похожими и здесь, и там («дезинфекция» прошлого и стирание информации о бедности, а в плане интерпретации указывание на факт, что она всегда составляет комментарий к ситуации сложившейся на сегодняшний день), но африканская ситуация была и есть совершенно другой. Объединить в одной метафоре ситуацию в Польше (постсоциалистической) и в бывших колониях — это злоупотребление, оно ничего не объясняет (упразднение различий фокусирует внимание на значимых элементах, а не на знаках как целостности). Сходство здесь исключительно поверхностное, оно абсолютно обходит стороной различия с точки зрения социальных значений и функций ностальгии.

³ В этом случае память описывается, в общем, как элемент создания и поддержания коллективной идентичности, а повествование, касающееся личного прошлого, как морально созданные видения на основе плавных отношений между автором, или даже объектом текста памяти и обществом, из внутреннего мира которого высказывается чувство общей «моральной традиции».

и представлением личного опыта в социально понятной форме. Эта форма является неотъемлемым элементом опыта, навязывающего определенное восприятие/понимание как автором, так и слушателем.

Первое предположение, которое я обозначил, упорядочивая исследовательские материалы, касалось памяти как формы повествования. Здесь память проявляется не как статичный образ, закрепленный в определенном материале, а как процесс, как элемент живого повествования и меняющихся условий жизни. Согласно Х. Уайту, процесс нарратологии памяти является производным от желания, чтобы реальные события «представляли целостность, сплоченность, полноту картины жизни, которая может быть исключительно воображаемой» [24: с. 169]. Исходя из этого, на тексты воспоминаний не стоит смотреть как на отражение прошлой реальности, помня, что «между изображающим реальным миром и миром изображенным в произведении проходит резкая и принципиальная граница. Об этом никогда нельзя забывать, нельзя смешивать, как это до сих пор еще иногда делается, изображенный мир с изображающим миром (наивный реализм), автора — творца произведения с автором-человеком (наивный биографизм), воссоздающего и обновляющего слушателя-читателя разных (и многих) эпох с пассивным слушателем-читателем своей современности (догматизм понимания и оценки)» [1: с. 402].

Описанная в цитируемом фрагменте из письма М. Бахтина оппозиция «пассивность — активность» одновременно показывает, что прошлое обновляется в повествовании творческим образом, но на самом деле является принятой позицией в отношении к прошлому с точки зрения какого-то настоящего.

Повествование (процесс) памяти не является объективным доказательством против прошлого, но только принадлежит к данным о настоящем. Этнографы, в свою очередь, стараются проследить факт отбора определенных составляющих для воссоздания истории, актуальных с сегодняшней точки зрения для представителей данной культуры. В таком случае одинаково важны как элементы, выраженные в рассказах-воспоминаниях, так и пропущенные [19].

Память, как утверждают семиотики тартуско-московской школы, — это пересказ опыта, в котором происходит отбор и построение иерархии содержимого. Такой отбор часто метафоризируется по причине забывчивости, является обязательным элементом, который функционирует изо дня в день. Иерархия текстов и содержания представляет собой семантически важное целое: одни постоянно функционируют на протяжении длительного периода времени (они высоко позиционируются в иерархии ценностей), а другие оказываются малозначительными (недолговечными). Те тексты, которые получают высокое положение в иерархии ценностей, подлежат широкому закреплению в обществе — ими занимается как материальное окружение, о воздействии которого писал Б. Латур, так и учреждения макрообщественного уровня. В их пределах тексты приобретают не только новые слои значений, но и дополнительные «полномочия»: они создают основы (моделируют воображение) и побуждают к действию таким образом, который приписан к данному учреждению

(например, музей не только хранит вещи, но и воспитывает, продвигает определенное видение реальности и толкает к действию во имя нее).

Попытки манипуляции этими иерархиями, попытки их упразднения или разрушения без принятия во внимание целостных процессов в обществе (переговоры), которые одобряют какие-либо изменения, вызывают сопротивление. Реакция общества может принять характер протеста против тех факторов, которые отвечают за существующий порядок или участвуют в переоценке данного порядка. Протест или переоценка являются здесь охраной не только порядка, который признан как реальный и естественный, но также порядка, связанного с системой ценностей. Это имеет серьезное этическое основание.

Таким образом, чем дольше определенные тексты функционируют (например, «тексты поведения»), тем выше в иерархии ценностей они будут находиться и тем труднее будет их признать малозначимыми по сравнению с новым содержимым. Принципиальным вопросом в семиотическом понимании становится вопрос правил трансформации прошлого опыта в сегодняшний текст культуры. Становится важным вопрос о том, почему из репертуара всевозможных текстов воспоминаний (фактов, событий) выбираются только некоторые и что с ними происходит во время пересказа на языках (системе знаков), функционирующих сегодня⁴. Этот вопрос сделался осью рефлексии по поводу сегодняшней ностальгии по ПНР.

В свою очередь, в теории интеракционизма, касающейся каждодневных «интерактивных ритуалов», Э. Гоффман [12: с. 154] подчеркивал, что обязывающие в них правила, их порядок, имеют неменьшее значение для способа восприятия мира индивидуумом, нежели порядок макромасштабных явлений. Таким образом, его теория заполняет пространство, которое существовало в концепции Б. Успенского и Ю. Лотмана, так как дополняет понятие долговечности текстов культуры. По мнению Э. Гоффмана, некоторые «тексты поведения» являются долговечными потому, что они принадлежат к каждодневному порядку, ритуальным формам интеракции: они повторяются, а благодаря этому мир становится предсказуем, подтверждает реальность.

Ж.-К. Кауфман [15] освещает еще один очень важный для нас элемент, обеспечивающий чувство каждодневного порядка, — общественное конструирование банальности. Перед тем как ученый объясняет собственную позицию,

⁴ «Вообще, определение культуры как памяти коллектива ставит вопрос о системе семиотических правил, по которым жизненный опыт человечества претворяется в культуру; эти последние, в свою очередь, и могут трактоваться как программа. Само существование культуры подразумевает построение системы, правил перевода непосредственного опыта в текст. Для того чтобы то или иное историческое событие было помещено в определенную ячейку, оно прежде всего должно быть осознано как существующее, т. е. его следует отождествить с определенным элементом в языке запоминающего устройства. Далее оно должно быть оценено в отношении ко всем иерархическим связям этого языка. Это означает, что оно будет записано, т. е. станет элементом текста памяти, элементом культуры. Таким образом, внесение факта в коллективную память обнаруживает все признаки перевода с одного языка на другой, в данном случае — на “язык культуры”» [2: с. 488]

он вспоминает работу П. Бергера и Т. Лукмана [5], которые пользовались понятиями «рутина», «навык» или «привычка» в своей теории институционализации, доказывая, что именно привычки являются фундаментом общественной конструкции реальности. Благодаря им реальность повседневной жизни предстает в виде чего-то само собой разумеющегося, понятного, целостного, не нуждающегося в дополнительной верификации, кроме своего обычного присутствия, являясь, таким образом, чем-то естественным и обязательным. Ж.-К. Кауфман все-таки подчеркивает, что эти авторы пропустили необычайно важный вопрос способа становления обыкновенности и обыденности повседневной жизни. Ведь привычки не являются чем-то, что нам дано, хотя, конечно, с точки зрения общественного актора (деятеля) как раз так и есть: эта реальность является результатом процесса (ускользающего в сознании), который сам описывает как «создание банальности» [15: с. 121]. Этот процесс заключается в невидимой интериоризации понятия ситуации, в адаптации к неписаным правилам, управляющим интеракциями, поведением в конкретных ситуациях повседневной жизни, в такой адаптации, что ситуация и поведение становятся банальными. Как пишет Ж.-К. Кауфман: «Банальность составляет особенный порядок конструкции реальности, спрятанную память, хранящую то, что приобретено, основу, без которой новые и более яркие попытки понятия не были бы возможны. Тогда как привычка — это инструмент, благодаря которому банализация становится реальностью. Этот элемент является воплощенным понятием (о нем забывается как о понятии), которое воспроизводит одновременно плавность жестов, знаки упоминания и “просто здесь” знакомые декорации» [15: с. 123].

Перед тем как я сформулирую основанные на вышеперечисленных допущениях тезисы, касающиеся зафиксированных сегодня форм ностальгии по ПНР, я сделаю небольшое отступление. Для информаторов факты, всплывающие в памяти людей, воспроизводили прошедшую реальность (они реальны): прошлое оказалось как бы более организованным, нежели настоящее. Это может быть обычный эффект многократных экспозиций прошлого в настоящем в различных контекстах.

Ю. Лотман и Б. Успенский обратили внимание на то, что резкие изменения в культуре (такие как смена власти в Польше — экономическая и политическая) вызывают рост характерного поведения (наряду со старыми вдруг появляются новые, до сих пор незнакомые, которые часто навязываются как обязательные и т. д.). Фактором, обеспечивающим чувство стабильности системы культуры (чувство структурированности) перед лицом спонтанных изменений, согласно Б. Успенскому и Ю. Лотману, является естественный язык, по мнению Э. Гоффмана, — ритуальные повседневные интеракции (как длительный порядок, например), а согласно Б. Латуру, — материальное окружение. Важно, что язык, интеракции и материальность (в оговариваемом случае материальность окружения все более и более личного) предстают перед «пользователем» именно как долговечные системы (порядок), до момента изменения окружения.

Опираясь на перечисленные выше предположения, я сформулировал два основных тезиса: 1) мы можем ожидать, что меняющиеся устои повседневной жизни будут интерпретированы в рамках относительно долговечных языков/кодов: чем больше будет разница между понятным языком/кодом и новым способом действия, тем больше будет непонимание, ведущее к отторжению чего-то нового и развитию чувствительности по отношению к хорошо знакомому старому; 2) ностальгия должна восприниматься как вид интерпретации «сегодня» с точки зрения коммуникационной перспективы: ностальгия интерпретирует изменения в границах форм коммуникации, и в первую очередь изменения взаимоотношений с окружающими, и возможности реализации ритуальных форм повседневной интеракции (которые, согласно Э. Гоффману, были гарантией чувства стабильности, порядка) в понятной среде предыдущих взаимоотношений.

Источником данных, как я уже отмечал ранее, являются материалы моих исследований: высказывания информаторов, вызванные моими вопросами, спонтанные и подслушанные реплики, а также наблюдения собранные в нескольких локусах, отличающихся друг от друга и общественно, и культурно (исходя из различий в составе общества, постоянство поселения и памяти этого постоянства, разновидности форм человеческих контактов и т. д.). Я напомним, что эти данные воспринимаются как интерпретации событий и опыта, и собирались с точки зрения «сейчас», определенного для собеседника. В реконструкции смысла пересказанных фактов важен был не только контекст событий, на которые ссылался информатор, но прежде всего его настоящая ситуация.

В опросах, которые производились во Влощове и в районе Свєрадува-Здруя, появляется тема потерянной на сегодняшний день, бескорыстной помощи друг другу, помощи по-соседски, в семье или вне круга близких людей. Вообще, доминирует чувство, что во времена ПНР люди чаще и больше объединялись, что делался акцент на близких, бескорыстных взаимоотношениях, не регулируемых подсчетом прибыли и убытков, и отмечается, что на сегодняшний день еще существует мотивация для поддержания взаимоотношений. Например, подчеркивается, что надежнее дружба, которая родом из детства, а не та, которую мы «приобрели» в зрелом возрасте, что взаимоотношения, возникшие во времена ПНР, кажутся более прочными, а те, которые завязываются сегодня, представляются более поверхностными и скорее могут быть разорваны.

Кроме этого, ПНР ассоциируется у опрашиваемых людей с активностью, со взаимодействием. Даже принудительные общественные работы оцениваются сейчас как позитивный элемент реальности ПНР, когда «можно было сделать что-то для всех». Людей объединяли для решения общественных задач. Многократно повторялись утверждения, что «сейчас» (непонятная категория, в которую иногда входит внешняя сила «системы», «новой реальности») не хватает совместных действий, люди друг от друга ограждаются, «не интересуются друг другом». В такого рода высказываниях проявляется взаимообусловленность определения реальности ПНР и способа понимания

сегодняшней ситуации. Частью этой ситуации является расщепление того, что было когда-то определено как «общественное» в пределах конкретной новой коммуникационной инфраструктуры. Люди замечают и воспринимают изменения в коммуникационной инфраструктуре, которая является сплетением технологических, экономических и политических факторов, влияющих на формы взаимодействия, виды контактов и т. п.

Особенно значимой оказывается в этом контексте оппозиция активности (когда-то) и пассивности (сегодня), которая организует дискурс о ПНР, но не совпадает с наблюдаемыми действиями: это значит, что граждане активны, изменения можно легко заметить, но по каким-то причинам, начиная рассказ о ПНР, информаторы не вспоминают об этом факте. Возможно, что это результат переоценки ПНР, конвенции, с которой подчеркивание сегодняшней активности было бы противоречием, или собственно чувство потери фактических связей и форм коммуникации (принятых за форму общественного действия).

Я многократно встречался с высказываниями по поводу того, что стоило бы сегодня взять за основу образцы общественной активности и организации, которые существовали во времена ПНР. В этой связи чаще всего люди вспоминают о «полезных общественных акциях», таких как строительство школ или украшение городов, которые были предлогом для встреч, чтобы выпить вместе водки, узнать что, где и с кем можно решить или уладить. Вспоминая действия из прошлого, информаторы четко выделяли те, которые ассоциируются у них с общиной. Принуждение, которое шло в паре с такого рода общественными действиями, отходит на задний план, а внимание концентрируется на достигаемой цели.

В настоящее время позитивно оценивается функционирование в прошлом таких явлений, как выдача бесплатных путевок для работников, существование домов отдыха, одновременно подчеркивается, что сейчас не у каждого есть возможность поехать на отдых⁵. Люди, с которыми я разговаривал, использовали иногда аргумент, что большинство детей во времена ПНР пользовалось возможностью бесплатного отдыха, путевками в лагерь, а сегодня из-за финансового положения родителей они должны оставаться дома: несколько человек утверждали, что в этом причина многих патологий среди молодежи. Разговор на эту тему провоцировал у наших собеседников рефлексию о безработице, которая, согласно им, порождает негативные процессы, в особенности когда речь идет о молодых людях. По мнению информаторов, во времена ПНР нельзя было заработать много, но работа была, людям было чем заняться, что переросло в ощущение безопасности и стабильности. Такое чувство, по мнению собеседников, подпитывалось развитием других социальных направлений политики государства, например здравоохранения, доступность

⁵ Такое соединение информации является очень важным: положительное с точки зрения «прошлого» и негативное — с «сегодняшней». Это подтверждает допущение, что прошлое подлежит интерпретации информатором с перспективы сегодняшнего дня.

которого, как указывали информанты, была гораздо выше, чем в наши дни, когда оказание медицинской помощи затягивается из-за очередей, необходимости постоянно прибегать к посредничеству врача первого контакта, чтобы получить консультацию специалиста, и т. д.

Некоторые высказывания собеседников касались исключительно их настоящей личной ситуации, хотя они и пытались делать широкие обобщения, например когда объясняли, что они исключительно негативно оценивают увеличение дорожного трафика, что во времена ПНР большинство товаров транспортировалось поездами, из-за чего не портилось дорожное покрытие и ездить было безопаснее. Автор подобного утверждения живет возле дороги с очень интенсивным движением, и, без сомнений, этот факт стал фундаментом для его личного сравнения (у других собеседников не замечалось похожих рефлексий). Другая собеседница подчеркивала, в свою очередь, отличия, которые касаются общественного порядка. Она уверенно говорила о том, что во времена ПНР было больше уважения к закону, было более спокойно и безопасно ночью. В этом случае поводом для такого утверждения было то, что вблизи места ее жительства несколькими годами ранее был открыт круглосуточный магазин, торгующий алкоголем, который стал местом ночных скандалов и драк.

Конечно, воспоминания о ПНР вызывают не только положительные оценки. К негативной стороне реальности ПНР участники опроса относят политические преследования, борьбу с церковью или отсутствие разного рода товаров. Одновременно появляются попытки объяснения или оправдания борьбы с оппозицией, которая была необходима во имя сохранения общественного порядка. Один из информаторов из Влощовы, оценивая негативно «борьбу с костёлом» во времена ПНР, одновременно обратил внимание на сегодняшнюю недооценку вклада сообществ в оборону костёла (он имел в виду громкий протест молодежи в 1984 году, который назвали борьбой за кресты, когда требовали, чтобы на стенах классов в профессионально-технических училищах разрешили разместить кресты) и в изменения, которые наступили в 1989 году. Это значимый жест. Его можно понимать так: сегодняшняя Польша оценивается информантами как будто чужая страна, поскольку «язык наших действий» из прошлого не может быть правильно понят (оценен) с точки зрения настоящего времени.

Несколько по-другому звучат высказывания на тему ПНР в районе Добжень-Вельки возле Ополя, в котором 20 % жителей — это немецкое меньшинство. Здесь намного чаще можно услышать положительную оценку изменений после 1989 года и негативную оценку ПНР. Положительно оценивается вступление Польши в Европейский союз, приветствуются поправки в законах, которые касаются национальных меньшинств, возможности говорить о своей индивидуальности и культивировать ее (хотя и касается это в большей степени представителей немецкого меньшинства), что благоприятно влияет на создание положительной картины о сегодняшнем дне и объясняет отсутствие ностальгии по ПНР. Особенно интересным в высказываниях опрошенных на тему различий между ПНР и современной Польшей мне кажется то, что оценка

происходит на совершенно другом поле, нежели во Влощове или в районе Свєрадува-Здруя. В этих местностях обращалось больше внимания на взаимоотношения между людьми, на связи, здесь же — на правила функционирования гражданского порядка, на местную демократию и на проблемы меньшинств. Поразительное различие между территориями опроса обнаруживается, когда мы противопоставляем высказывания о возможности для жителей принять участие в формах местной демократии или даже в решениях местной власти во времена ПНР и сейчас. Во Влощове существует более сильное убеждение, нежели в Добжени-Вельки, что до 1989 года можно было влиять на течение дел на локальном уровне, по меньшей мере на таком же уровне, что и сегодня. Интересно, например, что во Влощове я записал высказывание фермера, который как помеху на пути к более широкому принятию участия в решающих процессах на уровне города или района назвал общедоступную работу — «у каждого была работа», — так что свободного времени на другие действия не было.

ПНР в Добжени оценивается в большой степени сквозь призму экономических условий. Мнение респондентов таково: Польша до 1989 года не выдерживает конкуренции по сравнению с Германией, в принципе и современная Польша тоже, потому что в Германии «всегда было, есть и будет лучше» во всех смыслах, о чем свидетельствует огромная рабочая эмиграция молодежи из этого района. Единственное высказывание, в котором ПНР не была оценена хуже, чем современная Польша, касается периода власти Эдварда Гер(е)ка. Информатор утверждал, что «во времена Гер(е)ка было так хорошо, как есть сейчас». Так сказал мужчина, который на территории района Добжень-Вельки поселился после Второй мировой войны, что, как оказалось, влияет на оценку жизни в ПНР. У новых жителей совсем другое отношение к прошлому: они видят, что нынешняя политика дает надежду немецкому меньшинству, но вызывает переживания у иммигрировавшего населения. Это население, вспоминая ПНР, подобно тому, как это было во Влощове и Свєрадуве-Здруе, подчеркивает межличностные и добрососедские взаимоотношения, хотя на этот раз вопрос касается абстрактных межличностных отношений, а также взаимоотношений между меньшинством и иммигрировавшим населением.

Материалы исследования демонстрируют неоднородную картину жизни в ПНР, она зачастую полна противоречий, но когда мы сконцентрируемся на одной выбранной теме, то в ситуации ностальгии по ПНР проявляются определенные закономерности и общие схемы.

Самыми важными факторами, влияющими на оценку ПНР, которая обнаруживается в текстах воспоминаний, являются:

- 1) современные жизненные обстоятельства информатора (материальная ситуация или субъективное ощущение уровня жизни). Для тех информаторов, которые не считали себя привилегированной группой общества в новой системе (несмотря на то, чем занимаются сегодня и чем занимались раньше и на связанный с этим статус), ситуация до переломного момента является относительно слабым фактором;

2) ситуация в семье (которая в небольшой общине находится на виду): сложные отношения в семье (не всегда хорошие, особенно когда семья очень большая), ослабление семейных связей, а также финансовая ситуация близких часто оцениваются со ссылкой на ситуацию до перелома;

3) формирование образа ПНР в прессе, на радио и телевидении, а также сегодняшними политиками в СМИ. В контексте сомнений относительно действительности ПНР как нормального жизненного пространства, с которым мы сталкиваемся в разной степени с 1989 года, появляется оборонительная реакция: трудно воспринимать действия, предпринимаемые по собственной воле (те естественные во времена ПНР интерактивные ритуалы, тогдашнюю повседневность), как действия по принуждению, неправильные, деформированные и т. д.;

4) наблюдаемые изменения, которые не всегда оценивались положительно, но иногда рассматривались как новые линии, разделяющие людей, — это особенно значительные изменения в межличностных отношениях, где очевидны количественные и качественные трансформации.

Комментируя вышеизложенные факторы, которые влияют на современное восприятие ПНР, отмечу социологическую рефлексию опрошенных на тему позднего ПНР, поскольку восьмидесятые годы XX века в разных сферах жизни общества описываются как возвращение к более традиционным формам, характерным для досовременного общества [21: с. 90–91]. Здесь перечисляются такие регрессивные явления, как:

1) сужение общественного пространства (жизнь в малых группах, опирающихся на непосредственные связи, и сильная взаимозависимость, что вызывало коррупцию: важны были личные связи, знакомства, а также необходимость иметь таковые);

2) сужение общественного времени (целенаправленные действия на сегодня, а не на будущее);

3) рост значимости аффективных факторов перцепции мира («очарование мира»).

Перечисленные элементы влияли на потребительские стратегии, т. е. равным счетом на то, что мы считаем хорошим, дорогим и стоящим, чтобы это иметь, как и на то, каким образом мы это получаем и как мы этим пользуемся. Специфическая социально-экономическая система ПНР сдавила эту стратегию, организовывая число вариантов, и тем самым вызвала эффект близости⁶ в этой сфере общественной жизни, сфере невероятно важной для общественной индивидуальности.

Примечательно также, что явлений, значительно влияющих на локальные группы во времена ПНР, достаточно много. Эти связи в девяностые годы начали распадаться из-за влияния новых стратегий поведения. Отстранение от правил и форм поведения, принятых в восьмидесятые годы, мы наблюдаем около двадцати лет. Несомненно, это является одним из значимых эффектов,

⁶ Неважно, что этот эффект не был специально ожидаем или вызван, — он просто начал свое воздействие.

который вызывает ностальгию по потерянной связи (по былой коммуникации). Число межличностных контактов влияет на ощущение качества жизни [17] здесь и сейчас, а также на собранный символический капитал (чем больше таких коммуникационных ссылок в обществе, тем больше капитал). ПНР давал возможность поддержания большого количества общественных связей, важных с точки зрения общины. Необходимость решения различных дел неформальным путем, а также сама неформальность межличностных связей в обществе была гарантией эффективного функционирования в системе (была неписаным кодом). Необходимость наличия таких знакомств (можно сказать, что целая политико-экономическая система благоприятно влияла на развитие коррупции и неформальных сделок) одновременно порождала межличностную зависимость людей друг от друга, хотели они этого или нет. Неформальность утверждает постоянство кода, так что новому языку новой реальности очень тяжело его преодолеть. Все это вызывает неуверенность, непонимание и в конечном итоге ностальгию.

Итак, материалы исследования не подтверждают тезис о том, что пост-социалистическая ностальгия — это исключительно результат разочарования реальностью, которая стала источником неуверенности, потери чувства социальной безопасности, а также ощущения, что эгалитарный порядок вышел из строя [13: с. 226–227]. Ностальгия по ПНР не является также формой тоски по молодости, не вызвана типичным для поляков «брюзжанием» по поводу жизненных обстоятельств, ставшим частью национального менталитета [10: с. 70]. «Ворчанье» и жалобы на житейские невзгоды основывается не столько на оценке личной ситуации, соответствующей условиям, которые создает государство, сколько на воспроизведении кодов, регулирующих прежние способы действия, или же кодов, которые навязываются как новые. Речь в данном случае не идет о том, что людям не хватает воображения, чтобы представить себе, как выглядела их жизнь в различных сферах во время ПНР, но только о том, что существующие в этих сферах коды (организующие эту сферу) изменились так быстро, что стали «чужими языками»⁷. Проще согласиться с тезисом, что ностальгия является попыткой символического возврата ценностей мира повседневной жизни, который был для многих миром естественным [26: с.431–432]. Так называемое польское «ворчанье» является ритуальной и перенесенной во времени формой коммуникации, которая создает эффект сообщества — мотив, который часто сопутствует ностальгии по ПНР.

Литература

1. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. 504 с.
2. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. О семиотическом механизме культуры // Лотман. Ю. М. Семиофера. СПб.: Искусство, 2010. С. 485–503.

⁷ Факт, что изменения, не инициированные в 1989 году, в большой степени имели имитационный характер, усугубляет отчужденность передаваемых моделей и институтов.

3. *Angé O., Berliner D.* Anthropology and Nostalgia. New York: Berghahn Books, 2014. 244 c.
4. *Berdahl D.* '(N)Ostalgie' for the Present: Memory, Longing, and East German Things // *Ethnos*. 1999. № 64 (2). C. 192–211.
5. *Berger P. L., Luckmann T.* Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. 283 c.
6. *Binda K.* Zastawa 750 Po Jugosławii // *Popkomunizm. Doświadczenie Komunizmu a Kultura Popularna*. Kraków: Libron, 2010. C. 271–286.
7. *Boyer D.* Ostalgie and the Politics of the Future in Eastern Germany // *Public Culture*. 2006. № 18 (2). C. 361–381.
8. *Buchowski M.* Klasa i kultura w okresie transformacji: antropologiczne studium przypadku społeczności lokalnej w Wielkopolsce. Poznań-Berlin: Centre Marc Bloch, 1996. 78 c.
9. *Buchowski M.* Trudny Dialog: Relacje Wiedzy Między Antropologią Zachodnią a Środkowoeuropejską Etnologią // *Do Torunia Kupić Kunia* / red. H. Czachowski, A. Mianeck. Toruń: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2008. C. 161–188.
10. *Chwalba A.* III Rzeczpospolita: raport specjalny. Kraków, Wydawn: Literackie, 2005. 306 c.
11. *Cooke P.* Representing East Germany Since Unification: From Colonization to Nostalgia. Berg Publishers, 2005. 236 c.
- 12... *Goffman E.* Rytuał interakcyjny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 278 c.
13. *Górska K.* Nostalgia Za PRL-Em i Ostalgia // *Popkomunizm. Doświadczenie Komunizmu a Kultura Popularna* / red. Z. Grębecka and M. Bogusławska. Kraków: Wydawnictwo LIBRON, 2010. C. 217–228.
14. *Grant B., Ries N.* Wprowadzenie. Zmiany Pól Kultury i Społeczeństwa Po Socjalizmie // *Koniec Radzieckiego Życia. Ekonomie Życia Codziennego Po Socjalizmie*. Kęty: Marek Derewiecki, 2010. C. 5–8.
15. *Kaufmann J. C.* Ego: socjologia jednostki / Tłum. Krzysztof Wakar. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2004. 292 c.
16. *Kuligowski W.* O Historii, Literaturze, Pamięci Oraz Innych Formach Zapominania // *Konteksty. Polska Sztuka Ludowa*. 2003. № 57 (3–4). C. 79–84.
17. *Mathews G., Izquierdo C.* Pursuits of Happiness: Well-Being in Anthropological Perspective. New York; Oxford: Berghahn Books, 2009. 278 c.
18. *Nadkarni M.* The Master's Voice: Authenticity, Nostalgia, and the Refusal of Irony in Postsocialist Hungary // *Social Identities*. 2007. № 13 (5). C. 611–626.
19. *Robotycki Cz.* Jak Opisać Społeczność Lokalną – Przykład Wojnicza // *Lodz: PTL*, 1996. C. 23–30.
20. *Stewart K.* Nostalgia – A Polemic // *Rereading Cultural Anthropology*. London: Duke University Press, 1991. C. 252–266.
21. *Tarkowska E.* Temporalny Wymiar Przemian Zachodzących w Polsce // *Kulturowy Wymiar Przemian Społecznych* / red. A. Jawłowska, M. Kempny, E. Tarkowska. Warszawa: IFiS PAN, 1992. C. 87–100.
22. *Tismaneanu V., Stan M.* Romania Confronts Its Communist Past // *Romania Confronts its Communist Past: Democracy, Memory, and Moral Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. C. 1–11.
23. *Todorova M., Gille Z.* Post-Communist Nostalgia. New York; Oxford: Berghahn Books, 2012. 310 c.
24. *White Hayden V.* Poetyka pisarstwa historycznego. Kraków: Universitas, 2000. 388 s.

25. *Wolff-Powęska A.* Oswojona rewolucja: Europa środkowo-wschodnia w procesie demokratyzacji. Poznań: Instytut Zachodni, 1998. 418 c.

26. *Wolff-Powęska A.* Transformacja Społeczna. Polska i Nowe Kraje Federacji // Polacy i Niemcy. Historia, Kultura, Polityka / red. Andreas Lavaty, Hubert Orlowski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003. C. 427–436.

Literatura

1. *Baxtin M.* Voprosy` literatury` i e`stetiki. M.: Xudozhestvennaya literatura, 1975. 504 s.

2. *Lotman Yu. M., Uspenskij B. A.* O semioticheskom mexanizme kul`tury` // Lotman. Yu. M. Semiofera. SPb.: Iskustvo, 2010. S. 485–503.

3. *Angé O., Berliner D.* Anthropology and Nostalgia. New York: Berghahn Books, 2014. 244 c.

4. *Berdahl D.* ‘(N)Ostalgie’ for the Present: Memory, Longing, and East German Things // *Ethnos*. 1999. № 64 (2). C. 192–211.

5. *Berger P. L., Luckmann T.* Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. 283 c.

6. *Binda K.* Zastawa 750 Po Jugosławii // Popkomunizm. Doświadczenie Komunizmu a Kultura Popularna. Kraków: Libron, 2010. C. 271–286.

7. *Boyer D.* Ostalgie and the Politics of the Future in Eastern Germany // *Public Culture*. 2006. № 18 (2). C. 361–381.

8. *Buchowski M.* Klasa i kultura w okresie transformacji: antropologiczne studium przypadku społeczności lokalnej w Wielkopolsce. Poznań-Berlin: Centre Marc Bloch, 1996. 78 c.

9. *Buchowski M.* Trudny Dialog: Relacje Wiedzy Między Antropologią Zachodnią a Środkowoeuropejską Etnologią // Do Torunia Kupić Kunia / red. H. Czachowski, A. Miancki. Toruń: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2008. C. 161–188.

10. *Chwalba A.* III Rzeczpospolita: raport specjalny. Kraków, Wydawn: Literackie, 2005. 306 c.

11. *Cooke P.* Representing East Germany Since Unification: From Colonization to Nostalgia. Berg Publishers, 2005. 236 c.

12. *Goffman E.* Rytuał interakcyjny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 278 c.

13. *Górska K.* Nostalgia Za PRL-Em i Ostalgia // Popkomunizm. Doświadczenie Komunizmu a Kultura Popularna / red. Z. Grębecka and M. Bogusławska. Kraków: Wydawnictwo LIBRON, 2010. C. 217–228.

14. *Grant B., Ries N.* Wprowadzenie. Zmiany Pól Kultury i Społeczeństwa Po Socjalizmie // Koniec Radzieckiego Życia. Ekonomie Życia Codziennego Po Socjalizmie. Kęty: Marek Derewiecki, 2010. C. 5–8.

15. *Kaufmann J. C.* Ego: socjologia jednostki / Tłum. Krzysztof Wakar. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2004. 292 c.

16. *Kuligowski W.* O Historii, Literaturze, Pamięci Oraz Innych Formach Zapominania // Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. 2003. № 57 (3–4). C. 79–84.

17. *Mathews G., Izquierdo C.* Pursuits of Happiness: Well-Being in Anthropological Perspective. New York; Oxford: Berghahn Books, 2009. 278 c.

18. *Nadkarni M.* The Master’s Voice: Authenticity, Nostalgia, and the Refusal of Irony in Postsocialist Hungary // *Social Identities*. 2007. № 13 (5). C. 611–626.

19. *Robotycki Cz.* Jak Opisać Społeczność Lokalną – Przykład Wojnicza // Łódź: PTL, 1996. C. 23–30.
20. *Stewart K.* Nostalgia – A Polemic // *Rereading Cultural Anthropology*. London: Duke University Press, 1991. C. 252–266.
21. *Tarkowska E.* Temporalny Wymiar Przemian Zachodzących w Polsce // *Kulturowy Wymiar Przemian Społecznych* / red. A. Jawłowska, M. Kempny, E. Tarkowska. Warszawa: IFiS PAN, 1992. C. 87–100.
22. *Tismaneanu V., Stan M.* Romania Confronts Its Communist Past // *Romania Confronts its Communist Past: Democracy, Memory, and Moral Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. C. 1–11.
23. *Todorova M., Gille Z.* Post-Communist Nostalgia. New York; Oxford: Berghahn Books, 2012. 310 c.
24. *White Hayden V.* Poetyka pisarstwa historycznego. Kraków: Universitas, 2000. 388 s.
25. *Wolff-Powęska A.* Oswojona rewolucja: Europa środkowo-wschodnia w procesie demokratyzacji. Poznań: Instytut Zachodni, 1998. 418 c.
26. *Wolff-Powęska A.* Transformacja Społeczna. Polska i Nowe Kraje Federacji // *Polacy i Niemcy. Historia, Kultura, Polityka* / red. Andreas Lavaty, Hubert Orłowski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003. C. 427–436.

M. Brocki

Post-Socialist Nostalgia and Changes within the Semiotic Universe on the Example of Poland after 1989

In the article, I try to approach the socialist image of Poland built spontaneously from the bottom up perspective. The analysis base on the data from the fieldwork interviews and ethnographic observations conducted in three different places in Poland. I am arguing that nostalgia refers mainly to broadly understood forms of communication and the social links that constituted an important component of the semiotic universe of everyday life in socialist Poland.

Keywords: postsocialism; nostalgia; semiosis of memory; semiotic ethnography; anthropology of everyday life.